

Живёт в городе на Неве и пишет стихи. Светлые, пронзительные и очень талантливые.

Об авторе ходят легенды, его цитируют в захлёб, но всё, что касается подробностей биографии — это табу для читателей. «Должны быть известными - книги, а сами вы незнамениты», - так написал когда-то Андрей Вознесенский, и кажется, для Ника Туманова этот постулат важен принципиально.

Давайте же просто читать стихи. Они сами расскажут об авторе всё то, что по-настоящему ценно.

БАЛЛАДА О ДВЕРИ

Жила-была на свете Дверь.

Одета в чёрный дерматин, как вестник смерти и потерь, она мечтала расцвести, поверить в счастье, полюбить, с петель сорваться и уйти...

Ей надоело вечно быть преградой на чужом пути...

Но годы шли.

Скрипела Дверь, свирепо клацала замком, глазком глядела, словно зверь на тех, кто был ей не знаком, слегка разбухла — годы всё ж...

Когда хозяин приходил, втыкая ключ, как в сердце нож, она из всех двериных сил сопротивлялась: «Не возьмёшь!», зажав замочный язычок

в щели дверного косяка.

Хозяин бил её плечом, ругаясь матом, и пока пинал ногой, кричал: «Ну, всё! Достала рухлядь! Завтра в лом!»

Она же морщилась: «Осёл! Ты, верно, выжил из ума... Как без меня оставишь дом? Да я б давно ушла сама, но кто, коль я уйду, скажи, квартиру станет сторожить? А значит, в корне ты не прав, ко мне не чувствуя любви...» — и с каждым днём сварливый нрав, скрипя, старалась проявить.

Однажды в полдень мужики в зелёных робах, как Гринпис, другую Дверь за косяки держа, на лифте поднялись.

Недолго длилась канитель. Сказали ироды: «Ништяк!», и сняли старую с петель, ломами выдрали косяк...

На месте бабушки теперь стоит, металлом серебрясь, крутая новенькая Дверь.

Старушку ж, выставили в грязь, к помойным бакам прислонив...

Сбылась мечта сварливой скво — свобода! Только отчего так этот мир несправедлив? Ведь вот она — венец красоты, и даже старый дерматин

в слезинках утренней росы, невинной свежестью блестит...

А то, что ей немало лет, так ведь известно всем давно — чем старше, тем ценней вино, и для любви препятствий нет.

Конечно, проще бы рассказ закончить тем, как мальчик злой взял зажигалку... вспыхнул газ... и Дверь осыпалась золой...

Но всё ж добрей бывает явь: и как-то утром «Жигули» старушку-ветреницу взяв, с собой на дачу увезли.

Хозяин новый, освежив, подкрасив, ласково шепнул: «Ну, что, подруга, будем жить? Давай, садись на петли, ну...»

С тех пор она живёт в любви, вишнёвый сад ей новый дом, с пригорка ей открылся вид на пруд, и поле за прудом, а у крыльца цветёт сирень...

И вот что важно — верь, не верь, но нараспашку целый день стоит незапертою Дверь.

С её наружной стороны убор, (не подыскать слова!) — над новым косяком дверным резной наличник в кружевах.

И петли больше не скрипят, а песню нежную поют, впуская бойких пацанят в просторный комнатный уют.

А в небе носятся стрижи...

к хозяйской кошке кот рябой пришёл мурлыкать...

Это — жизнь!

И сотни раз: всё — жизнь!

Всё жизнь!

И нескончаема любовь!..

ТЫ ПРИХОДИШЬ...

Ты приходишь...

Ты тихо своим ключом отпираешь замок на моей двери.

От порога, раздевшись едва ещё, начинаешь смеяться и говорить.

Ты проходишь на кухню и ставишь чай, разливая жасминовый аромат.

И я жду, дверь откроется, вот сейчас, вслед за звуками явишься ты сама...

...Просыпаюсь...

Мяукает на дворе, одичавший в весеннем разврате кот. За окном старушка — смешной берет на затылке, в улыбке разинут рот, и задорный дедушка лет под сто в пиджаке расцветки «морской прибор», кормят хлебом уличных злых котов, да лениво ругаются меж собой...

...Это стало привычкой: ты и рассвет...

По утрам, задыхаясь в своей любви, я иду за тобой по сырой траве в мир, в котором и муху нельзя убить. Забывая следы на твоих руках, где шприцы прорывались сквозь стенки вен, я прощаю не знающую греха, за десятки в этом грехе измен...
...Мир, в который сбегала ты от меня, для меня был запрещен. Твой странный мир заставлял изменяться и изменять. Он, тебя выкрадывая, штормил. Героиновый сон из твоих глубин прорывался криками: «Помоги!..» Я с тобою ссорился. Я грубил. Под холодным душем лечил мозги.

...А когда отпускало тебя к утру, ты клялась, что это в последний раз. Ты просила — пусть память тебе сотрут, не жалея, сволочи-доктора. Утыкаясь носом в десятки «нет», я на форумах точно таких, как ты, разрывал всё знающий интернет, чтоб хоть как-то помочь тебе сжечь мосты. Я и сам становился почти врачом, проникая в тайны твоих миров. Всё казалось немного совсем ещё... Панацея есть — пациент здоров!..

...Но, когда в двести тысяч раз я открыл глаза из тревожных снов, ты ответно своих не открыла глаз.
Ты другое досматривала кино...

...И обиженный дядька, бухой с утра, ненавидящим взглядом махнув с листа, проворчал: «Отлеталась. Домой пора. Нехер было, зашириваясь, летать...»

...Ведь бывают такие ещё врачи, что едва ты для жалоб откроешь рот, тут же сам себе скажешь: «Молчи! Молчи!.. всё равно он тебя не поймёт, урод!» Только этот, опухший овал лица вдруг, взглянув мне в глаза, перестал ворчать и сказал: «Ты чего?.. Ты держись, пацан! И не вздумай вот так же себя кончать!»

...И качнулся устало привычный день...
И обрушилось небо из высока...
И какая-то толстая злая тень, не жалея, хлопала по щекам...

...А когда я воздух слотнул, как яд, приходя в себя, никакой ещё, тень, размытая в дальних своих краях, оказалась плачущим вдруг врачом... Тот, кто только что виделся злым козлом, говорил сквозь слёзы: «Ребёнок мой, эта жизнь не раз возьмёт на излом. Эта сука - не праздник, а вечный бой! Ты держись, послушай меня. Я сед. За плечами Чечня и ещё Афган. Я тебе не отец, а скорее дед. Только я не видел сильнее врага, чем вот этот, который сожрал её. Этот зверь не потешный укус клещей. Он людей не жалея по

граммам пьёт, доводя до стадии оvojцей. Я уже задолбался спасать таких. Без ста граммов смотреть на такое - мрак! Ты же чистый пока. Не начни с тоски. Я ведь вижу, ты в общем-то не дурак.»

...И, коньяк запивая сухим вином, мы давились засохшим кусочком «бри».

Я ему рассказал, что хотел давно, но с другими не смог бы поговорить...

...И теперь ты приходишь...

Своим ключом отпираешь замок на моей двери...

От порога, раздевшись едва ещё, начинаешь смеяться и говорить...

Ты проходишь на кухню и ставишь чай, разливая жасминовый аромат...

И я жду...

дверь откроется...

вот сейчас...

вслед за звуками явишься ты сама...

МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ **(по следам Жана Жене)**

Там, где у моря запах маяка, где ветер зло, до горечи просолен, я привыкал к чужим шальным рукам, не замечая, что смертельно болен. Хоть понимал - всё делаю не так, но чтоб казаться смелым и счастливым, на перемёт ловил *fera du lac* и потрошил на солнце под оливой.

Весь в серебринках рыбьей чешуи стоял нагим, кофейный от загара. Смеялся старый дедушка Луи и, доставая трубку из бриара, садился рядом. Трогая усы, грозил мне пальцем: «Мальчик, будь скромнее! Мужчину красят чёрные трусы. Чем ты скромнее — тем они чернее» — и хохотал. И я ему вслед.

Мы были рядом: я, старик и небо. За все мои шестнадцать долгих лет я никогда ещё счастливей не был.

Но вечерами, чистый и святой я подходил к дверям шумливых баров, и становился чьей-нибудь мечтой, и самым нужным к ночи из товаров. Их было много — женщин и мужчин, тех, что платить готовы за невинность.

И прибавлялось у Луи морщин... Он мне прощал своей судьбы морщинность. Он понимал — мне некому помочь.
Я сам себе защита в этой битве, которой имя — просто волчья ночь — танцуй на ней, мальчишка, как на бритве!
Я танцевал. Я был собой пока чужие руки гладили мне бёдра, а чьё-то тело цвета молока на флейте страсти гимн играло бодро...
Кто я для них? Игрушка? Юный шут? Картинка детства, вплавленная в гены, которой люди до смерти живут?
Или живой наркотик внутривенный? Кто там, под маской, чей оскал ревнив, чья доброта ко мне сродни вампирской?
Я только тело юное для них? Напиток жизни вкуса тамариска?
Я был готов в заботливых руках стать кем угодно, как комочек глины. А становился в этих стариках глотком любви с приправой мескалина. Я проживал за час десятки лун в иных мирах. Я создавал планеты, давал им воду, приучал к теплу. И становился тем планетам светом... от мескалина плавилась мозги, а без него всё буднично и нудно... у этой старой, высохшей брюзги две тощих фиги вместо юных грудок, и чтоб любить её, как я б хотел любить живое трепетное тело, я пил нектар из кактусовых тел, и так любил, как женщина хотела...
Я умирал, глотая ночь с тоской коктейлем терпким, но уже бесвкусным...
всё тише билось сердце под соском...
кренилось небо сумрачно и пусто... присев к роялю, «до-ре-ми-фа- соль» играл старик, бетховенски патлатый...
а день стекал по горизонту в ноль, и догорал за точкой невозврата...

ПОПУТНОЕ

господи, как ты нестройно тропу торишь...
девочка, здравствуй! нынче на встречи прёт.
ты автостопом от самой москвы в париж.
мне от дижона направо, а там - вперёд!
мы не знакомы? так значит — уже пора.
город столичный не ставит крестом тавро.
кто-то из мудрых придумал, что жизнь — игра.
просто играй. наслаждайся своей игрой.
если для нас не смогли написать икон,
не сочинили библий, не дали вер,
выдумай, девочка, собственный авалон.
ну, вот, как мой, безбашенный, например.
выдохни сказку. живи. приглашай гостей,

тех, у которых улыбка не сходит с лиц.
их города не знают ни крыш, ни стен —
а потому не желают иметь границ.

мне ли тебе рассказывать, как живу?
сердце безбрежно — маленький океан.
я проживаю время пяти лозанн.
дай тебе, господи, выжить одну москву!

А ГОРОД – ЕГО МАДОННА...

Он, в принципе, мальчик-гаер, скользящий всегда по краю. Полу-ребёнок, полу расцветных кровей поэт. Он даже и сам не знает — живёт он или играет, но хочет казаться взрослым в неполных шестнадцать лет. Весёлый, большого роста, поёт как захочет. Просто его окружают люди, влюбленные в красоту. Он сам себе ширь вселенной. Он — в море кипящем остров, приклеенный красной точкой к отбеленному листу. На этом листе он пишет берилловые лагуны и пальмовые закаты на лунных полях ночей. Он самую малость ниньо, влюблённо ласкает струны, он чаще не мачо даже, а просто совсем ничей.

Когда же ложится вечер за окнами позолотой и сон вытекает вязко из тёмных уже углов, меняется этот мальчик, хоть память всё реже что-то срывается в сны под гулы забытых колоколов...

И, бритвой тоски распорот, его навещает город, уже без него проживший без малого целый год. И мальчику так обидно, что встретится с ним нескоро, что город живёт спокойно и суетно без него. И, чудится — вспомнит город, и тихо проникнет в поры, заполнив собой до края молитвы его стихов. И станут тогда смешными казаться пустые споры, и город ему отпустит невинность его грехов.

А город — его мадонна, в рассветных трамвайных звонах, в автомобильном гуде с наполненностью огня. Он так беспощадно жаждет, и так незащитно тонок, и белые ночи сердцу роднее, блеее дня. А город его как морок, стекающий в двадцать сорок, а город его как цепи проспектов и площадей. А город он не подонок, он сладок, хоть чаще горек, он вяжет, он ставит крепи, как клейма в сердцах людей. Он делает их чужими, сближая на параллелях, он режет по венам стены домов, проникая в сны, и стрелами отраже-

ний он в сердце любовно целит, когда нестерпимо томно врывается зов весны. Тогда никуда не деться от нежной его болезни, и всякий, кто им болеет, становится с каждым днём немного совсем слабее, но всё же чуть-чуть железней, пока выгорает жажда вечерним его огнём...

А город...

О нём так много слагали стихов и песен.

Его защищали насмерть от жадности пришлых псов.

Он с каждым рассветом шире,

но боже мой, как он тесен для тех,

кто раскроет душу для питерских голосов!..